

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И
СТИХОТВОРЕНИЯХ
ИВАНА ИВАНОВИЧА
ДМИТРИЕВА

Петр Андреевич Вяземский Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24501722

Аннотация

«Выражение: он человек, к делам не способный! он поэт! реже слышится, благодаря успехам просвещения, которое если не совершенно еще господствует, то по крайней мере довольно *обжилося*, чтобы налагать иногда совестное молчание на уста своих противников. Блестящими опытами доказано (и нужны ли были тому доказательства?), что любовь к изящному, утонченное образование ума, сила и свежесть чувства, склонность к занятиям возвышенным, искусство мыслить и изъясняться правильно на языке природном и другие душевные и умственные принадлежности писателя не вредят здравому рассудку, твердости в правилах, чистоте совести, быстроте и точности соображений и горячему усердию к пользе общественной, требуемым от государственного человека...»

Содержание

Петр Вяземский

Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева

Выражение: он человек, к делам не способный! он поэт! реже слышится, благодаря успехам просвещения, которое если не совершенно еще господствует, то по крайней мере довольно *обжилося*, чтобы налагать иногда совестное молчание на уста своих противников. Блестящими опытами доказано (и нужны ли были тому доказательства?), что любовь к изящному, утонченное образование ума, сила и свежесть чувства, склонность к занятиям возвышенным, искусство мыслить и изъясняться правильно на языке природном и другие душевные и умственные принадлежности писателя не вредят здравому рассудку, твердости в правилах, чистоте совести, быстроте и точности соображений и горячему усердию к пользе общественной, требуемым от государственно-го человека. Невежественная спесь не догадывается, что буде ее приговор окажется справедливым, то строгость его падет не на поэзию, и что предосудительным и невыгодным может он быть только для тех, коих думает она величать сим отчуждением от непосредственных даров природы и от до-

стоинств неотъемлемых и независимых. Легко постигнуть, отчего успехи на поприще службы государственной могут противиться постоянным занятиям литературным и охолодить сердце к мирным наслаждениям труда бескорыстного; но нет причины благоразумной, по коей заслуги литературные должны быть препятствием развитию государственных способностей (не говорю успехов) в поэте, коего честолюбие вызывает из темной сени уединения на блестящую чреду действующего гражданина. Не имея нужды искать примеров у народов, давно опередивших нас в просвещении и образованности, мы можем выставить на уличение клеветы и невежества имена Кантемира, Державина, М. Н. Муравьева, Нелединского и несколько других, которые являются в одно время и с честью на стезе государственной жизни и со славою при алтаре муз. Нет сомнения, что царствование Екатерины II облагородило в России звание писателя. Иные государи покровительствовали дарованиям, но дарований не любили: Екатерина умела их отличать, потому что любить их умела. Благоразумнее в любви своей Фридриха II, который, пренебрегая языком своего народа, писал на чужом и усердствовал к успехам одних иностранных писателей, Екатерина Великая, при уважении своем к философам, непосредственно действовавшим тогда на развитие умов в Европе, не была равнодушна к совершенствованию языка народного, ободряла покровительством и примером опыты отечественных писателей и, чтобы более приохотить двор, а по-

средством двора и общество к русскому языку, упражнялась сама в русской словесности. Нередко заказывая Храповицкому государственную работу, от коей зависели судьба Европы или благоденствие России, заготовляла она вместе с ним сцену для комедии или поручала ему написать куплет для оперы, ею сочиняемой. Конечно, ее авторские произведения не обогатили словесности нашей, равно как и ботик, Петром Великим сооруженный, не усилил нашего флота; но поощрение царское и царский пример, всегда действительные, принесли много пользы словесности нашей. Друзья просвещения, цветущего в ее царствование, обязаны равно со всеми русскими признательностию Екатерине. Народная благодарность помнить будет завсегда, сколь живо, сколь горячо любила она русскую славу, от коей своей собственной не отделяла, и сколь неутомимо и разнообразно заботилась о ее успехах.

Сему счастливому сочетанию заслуг государственных с литературными заслугами должны мы тем, что биография чиновника не заключается иногда в одной сухой летописи о прохождении его из чина в чин, а биография поэта удовлетворяет любопытству не одних любителей поэзии, но и людей, требующих от стихотворца заслуг еще другого рода. Известие о жизни и сочинениях Ивана Ивановича Дмитриева может заслужить внимание читателей, к которому бы из упомянутых разрядов они ни принадлежали.

Взглянем бегло на первые годы его жизни и поприще за-

слуг гражданских, которые довели его до высоких почестей, и побережем внимание свое для обозрения заслуг литературных, которые если и не вознаграждаются таким блестящим и наличным образом, как первые, то по крайней мере часто бывают долговечнее в памяти современников и потомства. Имена хороших правителей, если события необыкновенные не возносят их на степень высшую, с коей могут они подействовать непосредственно на жребий государства и заготовить себе место в истории народа, должны довольствоваться и пользою и молвою временною; имена хороших писателей, не затмеваемые блеском событий современных, разливающие сияние благодетельное на эпохи бледные и скудные, всегда сохраняются признательно у народов просвещенных, как лучшее их достояние, как неотъемлемая собственность! Слава писателей, залог священный, вверенный гордости народной, может истребиться только вместе с нею в народе, униженном пороками правительства, или под бременем собственного разврата уронившего величие предков.

Действительный тайный советник и кавалер святыя Анны, святого Александра Невского и святого князя Владимира первой степени, член Российской академии, почетный член Московского и Харьковского университетов и многих ученых обществ, Иван Иванович Дмитриев родился в 1760 году в Симбирской губернии, в деревне отца своего.

Способы тогдашнего воспитания были весьма ограничены; ныне оно содействует природе в развитии дарований

и нередко искусственными прививками заменяет первобытную скудость. Так искусство и попечительность плодотворят почву ленивую и черствую! Тогда природа одна и нераздельно насаждала и образовала в любимце своем умственные способности и склонности душевные. Еще, к счастью своему, Ив. Ив. Дмитриев имел в родителе человека умного, образованного и чуждого предрассудков, которые господствуют в городах, отдаленных от средоточия просвещения, и встречаются иногда и в самых столицах. — Симбирск отличался всегда пред прочими губернскими городами успехами в общежитии и светской образованности. С самого детства внимание Ив. Ив. Дмитриева было обращено на предметы достойные любопытства. Новости политические, придворные и литературные скоро доходили из Петербурга до семейного его общества и выводили разговор из обыкновенного круга и мелких сплетней городских, суждений о пикете и рокомболе и шумных прений о псовой охоте. С самого детства научился он, примером родителей, любить чтение и, следовательно, уважать звание писателя. Но что служило в то время пищею ума? Какие книги были в ходу и в чести у русских читателей? Некоторые романы, убийственные переводы, которые искажали мастерские произведения иностранной словесности; и молодые воспитанники должны были, так сказать, на трупах изувеченных пробуждать в себе дух жизни и по грубым творениям учиться искусству правильно мыслить и изъясняться!

До двенадцатилетнего возраста обучался он в Казани, а потом в Симбирске, в частных училищах. О том образовании, которое можно было получить в сих заведениях, легко составить себе понятие, смотря на многие из нынешних воспитательных заведений и предполагая, что образованность и у нас идет постепенно к возможному усовершенствованию. Смутные обстоятельства Низового края, при мятеже Пугачева, не позволили ему пользоваться долго и теми скудными способами. Отец его со всем семейством был принужден покинуть родину, убегая от ужаса, распространяемого неистовым и безрассудным мятежником. На 14 году возраста И. И. Дмитриев был послан родителем в Петербург, явиться в гвардейский Семеновский полк, в котором он еще с малолетства был записан в солдаты, по тогдашнему обыкновению, угождавшему тщеславию родителей, но вредному для молодых людей и пользы государственной. Не успев еще не только образовать ум воинскими науками, но и физически и нравственно образоваться, не испытав способностей и склонностей своих, спешили отроки, как будто по какому-то невольному обету, в военное звание, подобно как в прежней Франции младшие братья обречены были до рождения званию духовному. Пробыв несколько месяцев в полковой школе, где обучали только первым правилам рисования, математике, истории и географии на русском языке, вступил он в действительную службу. Призовите иностранцев, легкомысленных в суждениях своих о России, и пригласите их выве-

сти из предлагаемого здесь обозрения первоначальных лет жизни, сих лет, так сказать, приготовительных, гадательное заключение о будущей судьбе такого юноши? Как неосновательны и как далеки от истины будут их гадания! Какой неистребимый запас душевных сил должно иметь в себе, чтобы при несовершенстве образования не поддаться губительной силе обстоятельств, всегда стремящихся уравнивать преимущества природные и задерживать в рядах толпы благородных честолюбцев, порывающихся выступить из обыкновенной среды! В России следы к успехам ума не могли еще быть твердо проложены; каждый шаг вперед есть победа и завоевание, но зато и каждый победитель есть исполин. Рядовому дарованию, не увлекаемому движением общим, нельзя ожидать успехов, соразмерных его достоинству. Не имея в себе довольно силы, чтобы утвердиться самобытно, оно, вызываемое честолюбием из толпы, в которой ему душно и неловко, по тщетном борении, по усилиях похвальных, но бесполезных, поглощается потоком, тогда как при других обстоятельствах, при общем стремлении достигнуло бы оно цели, не быстрыми, но твердыми, не блестящими, но верными средствами. Оттого и умственные способности, не разлившиеся еще по разным степеням общества, сосредоточиваются в нескольких лицах, которые, подобно откупщикам, завладевшим нераздельно всеми отраслями и выгодами народной промышленности, отвечают частными капиталами за толпу неимущую и живущую их подаением.

Прослужив несколько лет в Семеновском полку, был он, по желанию своему, отставлен полковником при вступлении на престол императора Павла. Военное ремесло, которое становится столь блестящим званием, когда события призывают воина на защиту или прославление отечества, не может в мирных обстоятельствах удовлетворять вполне потребностям души пылкой и деятельного ума. После нескольких месяцев отставки И. И. Дмитриев вступил в службу гражданскую; в продолжение первого ее периода занимал он, между прочим, места: товарища министра в департаменте удельных имений и обер-прокурора. Снова вышед в отставку с чином тайного советника и пенсионом, поселился он в Москве, где провел несколько лет, посвященных занятиям литературным и тихим наслаждениям жизни изящной и философической. Москва была тогда истинною столицею русской литературы и удовольствий общежития образованного; памятники блестящего двора Екатерины доживали свой век в тихой пристани и придавали московскому обществу какую-то историческую физиогномию, равно как и кремлевские стены придают ее самому городу. Многие открытые дома, куда съезжались, на хлебосольство хозяев образованных и достаточных, собеседники умные, женщины любезные и просвещенные путешественники, доставляли людям, чуждым честолюбия и удаленным от дел, приятные наслаждения утонченного общежития, признаки несомнительные и плоды образованности зрелой. Знаменитый творец «Рос-

сияды», патриарх московской словесности, доживал тогда, посреди друзей и почитателей, славу долголетнюю и безмятежную. Успехи цветущие и успехи расцветающие искали в его благосклонном добродушии и одобрения и поощрения. Следы 1812 года, в отношении к вещественному разорению, столь быстро изглаженные деятельностью правительства и похвальным тщеславием московских жителей, еще разительно означаются в отношении к нравственному опустошению. Цветущий возраст московского общества миновал, и самые московские музы как-то не опомнились еще от ужаса и тревог военных.

В 1806 году деятельность благородная снова вызвала И. И. Дмитриева на поприще службы государственной: ему повелено было присутствовать в Сенате, в сем высоком государственном месте, одаренном великим основателем своим столь значительными преимуществами и прославленном в памяти народной великодушною смелостию Долгорукого и бессмертными строками, писанными Петром I с берегов Прута, к собранию мужей именитых. В продолжение заседания своего в Сенате И. И. Дмитриев был три раза удостоен высочайшею доверенностию и посылан, по особенным поручениям, в разные губернии. В 1810 году получил он блистательнейшую награду за ревностное исполнение обязанностей своих по званию сенатора и вызван из Москвы занять место министра юстиции. Общественное уважение к заслугам, пробившим себе путь к высокому назначению, без ино-

го представительства и покровительства, кроме личных достоинств, оказалось с выбором правительства в совершенном согласии, коим всегда дорожит попечительная и прозорливая власть. Между прочими законодательными постановлениями, последовавшими во время управления его министерством юстиции, замечателен по государственной важности указ, в силу коего запрещалось личным дворянам приобретать крестьян и дворовых людей. Благомыслящие люди с признательностию и радостию увидели в сем благонамеренном распоряжении правительства отсечение одной из отраслей бедственного злоупотребления и надежду на совершенное искоренение зла. Пробыв в звании министра в продолжение важной эпохи войны народной и следующих годов, достопамятных для России, уволен он был, по желанию своему, из службы и снова возвратился в Москву, где впоследствии удостоился быть избран орудием высочайшей милости, оказанной пострадавшим жителям столицы от разорения в 1812 году.

Все обстоятельства жизни человека значительного возбуждают общее любопытство: тем более желаем знать, какие были его связи, знакомства, и в особенности, когда в кругу их встречаем имена, равно достойные уважения нашего по добродетели или заслугам. Счастливая судьба свела нашего поэта в Семеновском полку с Ф. И. Козлятевым. Ум образованный, страсть к учению, строгий и верный вкус в литературе и прекрасные качества души ясной и благородной были

свойствами человека, в котором И. И. Дмитриев отыскивал себе друга и, еще более, *благодетеля*¹, по прекрасному выражению души, почитающей за истинное благодеяние приязнь поучительную и сладостную людей добродетельных и возвышенных. «Он не мог (говорит поэт в письме о покойном друге) передать мне прекрасной души своей; по крайней мере, примером своим отвращал меня от всего низкого». Признание трогательное и возвышенное! Такое чувство свойственно только душе высокой и служит лучше похвалою покойника и лучшим доказательством, что друзья были достойны друг друга. Знакомство их началось в Семеновском полку, когда Ф. И. Козлятев был еще подпоручиком, а наш поэт сержантом; взаимная дружба, испытанная временем и всеми изменениями жизни, прервана была одною смертию. В его суде о русской словесности, всегда основанном на чувстве изящного, поэт наш почерпал сию верность и утонченность вкуса, которые после руководствовали его дарованием. В его библиотеке пользовался он старыми и новейшими произведениями французской литературы, особенно им одобряемыми, чаще же всего классическими, коих отпечаток ознаменовал самые первые его творения в то время, когда и охота и самые средства к чтению иностранных писателей были так редки и скудны. Любопытно знать, что при дружбе, столь тесно их связывавшей, поэт никогда не показывал своих стихов другу, равно как и старшему брату сво-

¹ Выражение И. И. Дмитриева. (Примеч. П. А. Вяземского.)

ему и сослуживцу, о коем Русский Путешественник упоминает в своих «Письмах» и коего любовные стихи читаем в «Московском Журнале», писанные *под шведскими ядрами*, по выражению издателя. Козлятев узнал вместе с публикою о поэтическом даровании своего друга: с каким живым удовольствием должен он был приветствовать цветы, расцветшие тайком от него, но, без сомнения, от его попечительного участия и благотворного влияния на склонности и образование поэта. В молодости своей Козлятев и сам писал стихи, но также не показывал их другу. Вероятно, находятся и переводы его, может быть, и напечатанные без его имени. Необыкновенная скромность его только однажды дозволила ему показать другу прекрасный перевод одной из древних элегий; к сожалению, сей опыт не был напечатан и потерян. Не можем удержаться от удовольствия привести здесь одну прекрасную черту из жизни сего благодетельного человека. В истинных друзьях и печали и радости общие; кажется, что и самые добродетели одного отражаются на другом, и потому никакие подробности, служащие к чести Козлятева, не могут казаться здесь неуместными. Он имел небольшую деревню в Владимирской губернии; однажды пишет он к своим крестьянам: «На нынешний год не присылайте мне оброка: у меня остается на годовой прожиток довольно денег от прошлого».

Впоследствии И. И. Дмитриев был в связи со всеми литераторами нашими, которые прославились в конце протек-

шего столетия. Державин любил его, доверял его вкусу и следовал иногда его советам; стихи нашего поэта на смерть его первой супруги, исполненные чувства глубокого, доказывают и его привязанность к знаменитому лирику. В доме его познакомился он с Н. А. Львовым, оставившим по себе несколько приятных стихотворений, и с Фонвизиним, за несколько часов до его смерти.

Излишним будет упомянуть здесь о дружбе тесной и, так сказать, гласной, соединяющей его с писателем знаменитым, дружбе примерной и поучительной, возраставшей от самой юности наравне с их летами и славою и заимствовавшей новый блеск и новую связь от соперничества в успехах, так часто служащего к помрачению и разрыву приязни в людях, коим чужие достоинства кажутся всегда собственными неудачами, а чужие удачи личными оскорблениями.

Никто лучше автора нашего не мог бы составить обзора и записок литературных последнего полустолетия. Ум наблюдательный, взгляд зоркий и верный, память счастливая, мастерство повествования, вкус строгий и чистый, долгое обращение с книгами и писателями, — все ручается за успешное исполнение предприятия, коего, смеем сказать, мы почти вправе требовать от автора, уже принесшего столько пользы словесности нашей. У нас государственные люди, полководцы, писатели, художники преходят молчаливо и как бы украдкою поприще действия своего и, но большей части в жизни сопровождаемые равнодушием, по кончине

награждаются одним забвением. Смерть их похитила, и из частной их жизни молва ничего не завещает нам ни поучительного, ни занимательного, и ни один голос не раздаётся для сохранения их памяти. На холодной и неблагодарной почве остывают и изглаживаются все следы бытия человека знаменитого при жизни, но который по смерти оставляет нам, как известный бригадир, разве только одно предание в газетах, что *он выехал в Ростов*. Суворов жив у нас в одних реляциях военных, конечно, достаточных для его славы, но не для любопытства нашего. Ломоносов, коего жизнь, может быть, более самых творений его исполнена поэзии, ещё ожидает биографа искусного. Известие о жизни его, изданное Академиею, скудно, а какой богатый предмет для философа, поэта, историка, которые найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыслов! Дикий рыбак в Холмогорах, пробуждаемый откровением природы, гонимый из родины потребностию чего-то неизвестного и пророческою тоскою гения; прусский солдат в крепости германской; преобразователь языка, поэт и ученый соревнователь первейших лириков и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению. Какое разнообразие в картине, какая игра и глубокая таинственность в предназначении судьбы человеческой! Гордость народная, источник любви к отечеству, сей первой добродетели народа и сего первого залога его славы, не может и не должна быть слепым чувством пристрастия или грубым са-

мохвальством. Пусть почерпается она из точного познания всего, что может в глазах наших возвысить достоинство страны, в коей мы родились, народа, коему принадлежим, из сродства нашего с мужами, коих деятельная и плодотворная жизнь содействовала благоденствию и славе отечества и кои имеют еще более права на нашу благодарность, чем на благодарность своих современников, ибо пора сеяния не есть пора жатвы.

Во Франции писатель, оставивший по себе страничку стихов в гостеприимном «Календаре Муз», по смерти своей занимает несколько страниц в журналах и биографических словарях, а из них переходит в область истории. Такая мелочная попечительность может казаться неуместною и смешною вчуже; но в своей земле она есть полезное поощрение ко всем предприятиям общественным, побуждением к славе и средство успешное для поддержания и подкрепления семейственной связи народа, которая прерывается и рушится там, где старина без преданий, а настоящее без честолюбивых упований на будущее.

В 1791 году Карамзин, возвратившийся в Россию с умом, обогащенным наблюдениями и воспоминаниями, собранными в путешествии по государствам классической образованности европейской, начал издавать «Московский Журнал», с коего, не во гнев старозаконникам будь сказано, начинается новое летосчисление в языке нашем. В сем издании, на мрачных развалинах готических, положено первое основа-

ние здания правильного и светлого нашей возрождающейся словесности.

В «Московском Журнале» встречаются первые печатные стихотворения нашего поэта, признанные им и вкусом. Многие из них не были после перепечатаны; но любители стихов и наблюдатели постепенного усовершенствования дарований с удовольствием отыскивают некоторые преданные автором забвению, а в других следуют за исправлениями, которыми очищал их вкус образующийся в разборчивость строжайшая. В худом писателе и случайные красоты его никому не в пользу; в хорошем и самые погрешности служат предметом наблюдения и учения. «Что меня отличает от Прадона? Слог!» – говорил Расин. А слог, как и телесные силы, зреет и мужает от изошрения и времени. В посредственных писателях постепенные изменения не так разительны: они в самой молодости являют истощение и холодность преклонных лет; в возрасте мужества отзывается в их лепетании недозрелость и невинность ребячества. В писателях образцовых переходы иногда невероятны. Боссюэт в первых опытах был надут и до невероятия погрешал против вкуса. У него встречаются выражения: «Да здравствует Вечный!» Детей называет он *рекрутами человеческого рода*.

Авторы-друзья собирались издать свои сочинения в одной книге; обстоятельства не позволили исполнить намерения. Карамзин напечатал свои прежде, под названием «Мои безделки». «Как же мне назвать свою книгу? – сказал одна-

жды товарищ опоздавший, – разве „И мои безделки“!» Так и сделалось; и в самом деле «Ермак», «Причудница» такие же безделки, как «Наталья боярская дочь», «Дарования», то есть безделки для таланта, который рассыпает их легкою рукою, и камни преткновения для посредственности бессильной и зависти, тщетно разбивающей о них орудия своей досады. Некоторые еще и поныне держатся буквального значения наименований, данных авторами своим произведениям. Эти люди не пробуждаются, но оглушаются звоном слов высокопарных, и, по светской привычке, они платят спеси авторской дань приличную достоинству; дарования не распознают, если оно показывается под завесою скромности. Для них громкое наименование книги есть то же, что знак отличия на человеке, то есть требование на безусловное поклонение. После издания «И моих безделок», вышедшего в Москве в 1795 году, было, сказывают, напечатано и другое, но без ведома автора. – Тут, как и в «Московском Журнале», находятся стихотворения, исключенные автором из последовавших изданий, но которые хранятся в памяти у литераторов. Игривые стихи: «К приятелю с дачи» сверкают веселостию и остроумием французским.

От 1795 до 1818 года разошлось шесть изданий поэта нашего, не считая двух изданий басен, из коих последнее было перепечатано в 1810 году. Такое явление обыкновенно в других государствах, где все читают и все читается; но у нас, где число читателей ограничено, а разборчивость их

если не всегда проницательна, то по крайней мере взыскательна, и где цена на книги чрезмерно высока, такой пример замечателен и утешителен. Пускай недовольные вопиют против непризнательности и несправедливости общества: мы, забывая о иных ложных приговорах публики, которая, как и другой судья, подвержена бывает иногда заблуждениям, оболъщению и лицепритию, порадуемся за нее и за писателей, когда видим блестящие опыты ее разума и справедливости.

Кажется, что вопрос: кого должны мы утвердительно почесть основателями нынешней прозы и настоящего языка стихотворного? давно уже решен большинством голосов. Язык Ломоносова в некотором отношении есть уже мертвый язык. Сумароков подвинул у нас ход и успехи словесности, но не языка. Язык Петрова, Державина, обильный поэтической смелостью, красотами живописными и быстрыми движениями, не может быть почитаем за язык классический или образцовый. Подражатели их удачного своевольства, остановясь на одной безобразности, не переступят никогда за черту, недостижимую для посредственности, черту, за коею гений похищает право сбросить с себя ярем докучных условий, его рукою порабощенных и пред ним безмолвствующих. Язык Хераскова и ему подобных отцвел вместе с ними, как наречие скудное, единовременное, не взросшее от корня живого в прошедшем и не пустившее отраслей для будущего. В некоторых из стихов и прозаических творений Фонвизина

обнаруживается ум открытый и острый; и хотя он первый, может быть, угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его есть слог умного человека, но не писателя изящного. Богданович, в некоторых отрывках «Душеньки» и других стихах, коих доискиваться должно в бездне стихов обыкновенных, может назваться ба-ловнем счастья, но не питомцем искусства. Мольер говорил о Корнеле, что какой-то добрый дух нашептывает ему хорошие стихи его: то же можно сказать и о певце «Душеньки», сожалея, что дух враждебный так часто наговаривал ему на другое ухо – стихи вялые и нестройные. Если и полагать, что нерадивый Хемницер трудился когда-нибудь над усовершенствованием языка, то разве с тем, чтобы домогаться в стихах своих совершенного отсутствия искусства. Но, отвергая предположение невероятное, признаемся, что простота его, иногда пленительная, часто уже слишком обнажена; к тому же он, упражняясь только в одном роде словесности, и не мог решительно действовать на образование языка. Все сии писатели и несколько других, здесь не упомянутых, более или менее обогащали постепенно наш язык новыми оборотами и новыми соображениями и расширяли его пределы; но со всем тем признаться должно, что и посредственнейшие из писателей нынешних (разумеется, и здесь найдутся исключения) пишут не языком Княжнина и Эмина, стоящих гораздо выше многих современников наших, если судить, о даровании авторском, а не о превосходстве слога. Фемистокл

и Аннибал, конечно, были одарены гением воинским, коего не найдем в каждом же современных наших генералов; но нет сомнения, что в нынешнем усовершенствовании военного искусства каждый из них, при малейшем образовании, пользуется средствами, облегчающими ему успехи, о коих древние полководцы, невзирая на всю обширность своих соображений, и мысли не имели. Строгая справедливость и обдуманная признательность, называя двух основателей нынешнего языка нашего, соединяет еще новыми узами имена, сочетанные уже давно постоянно и примерною дружбою. Отвращение ко всем успехам ума человеческого ополчило и здесь соперников, во имя старины, против Карамзина и Дмитриева, развивающих средства языка, еще недовольно обработанного, и обогащающих сей язык добычею, взятою из его собственных сокровищ. Сие раскрытие, сии применения к нему понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и, может быть, не без справедливости, если слово *галлицизм* принято в смысле *европеизма*, то есть если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской. Согласиться должно, что вкус французской словесности, которая преимущественно образовала ум и дарования наших двух писателей, заметен в их произведениях; но и то неоспоримо, что, при тогдашнем состоянии нашей литературы, писателям, вызываемым дарованиями отличными из тесного круга торжественных од и прозы

ребяческой или высокопарной, в коей по большей части были в обращении одни слова, а не мысли, должно было заимствовать обороты из языков уже созревших и прививать их рукою искусною к своему языку, приемлющему с пользою все то, что только не противится коренному его свойству. Мы могли бы спросить, из которых языков прививки были бы выгоднее для русского языка и свойственнее ли ему *германизмы, англицизмы, италиянизмы*, даже эллинизмы и латинизмы? Но решение сего вопроса не подлежит настоящему рассуждению и не удовлетворяло бы ни в каком случае гнева противников, готовых поразить равным проклятием все то, что не заклеяно печатною старины и не освящено правом давности, единственным правом, коему поклоняются умы ленивые и робкие. Не слышим ли ежедневно смертных приговоров, произносимых защитниками здравой словесности, *школьными классиками*, над смелыми покушениями Жуковского, который мастерскою рукою похитил красоты с германской почвы и, пересадив на нашу, укоренил их в русской поэзии? Лучше носиться иногда с Шиллером и Гете в безбрежных областях своенравного воображения, чем пресмыкаться вечно на лоцинах посредственности, не отступая, для успокоения совести, от правил условных, коих затруднительное соблюдение может придать лучший блеск творениям изящным, но не в состоянии придать достоинства творению плоскому и бездушному. Наша словесность еще в таком несовершенном состоянии, что каждая попытка дарования,

будет ли она утверждена или отринута дальнейшим употреблением, неминуемо должна ей и языку обратиться в пользу.

Примечательно и забавно то, что Карамзин и Дмитриев, как великие полководцы, которые, преобразовав искусство военное, кончают тем, что самых врагов своих научают сражаться по системе, ими вновь введенной, научили неприметным образом и противников своих писать с большим или меньшим успехом по-своему. Как часто видели мы, что присяжные заступники старинных писателей витийствуют за них и против новейших на языке, утвержденном сими последними! Языки, прославленные творениями Данта, Шекспира и других, несмотря на славу своих образователей и ненарушимость прав ее на уважение потомства, не могли пребыть неизменными у народов зрелейших в образованности: зачем же на нас одних налагать неподвижность и задерживать естественный ход языка, который только что начинает выходить из отроческого возраста и нуждается еще в правилах, утвержденных употреблением или законною властью? Поверить легко, что для многих он достаточно, если не с излишеством, изобилует оборотами и соображениями; найдутся люди, и даже в числе писателей наших, которые несколькими сотнями слов могли бы выразить полную сумму своих наличных понятий; но забывать не должно, что при этом роде людей утомонных и умеренных бывают и такие, коих неутолимая жажда к приобретениям беспрерывно умножает богатство языка, а с ними и его потребности. Ум

человека знает отдых и бездействие; но ум человеческий за-
всегда в работе и движении наступательном. Новые понятия,
новые открытия в науках, новые устройства в порядке граж-
данском требуют и новых выражений или новых соображе-
ний в значении слов уже известных. Нет сомнения, что и са-
мый наш язык, уже изменившийся, изменится еще, по ме-
ре как мы будем непосредственнее и действительнее участ-
вовать в общем ходе образованности и просвещения. «Исто-
рия Государства Российского» составляет сама эпоху в слоге
Карамзина и, следственно, эпоху и в русском языке.

Наш поэт в разных родах испытывал свои силы, и нам
можно жалеть не о том, чтобы он, не советуясь с своим ге-
нием, принимался за иное, но о том, что, не советуясь с вы-
годами читателей, не умножил и еще более не разнообразил
своих опытов. – Начнем с лирических творений обозрение
его трудов поэтических.

Народные воспоминания, славные события отечествен-
ные, внезапная и чудная смерть исполина, коего жизнь и зна-
менитость имели что-то своенравное и баснословное, явле-
ния природы, кои в разнообразном однообразии своем жи-
вее самых явлений общества действуют на душу поэта, про-
буждали и в нашем сей восторг пламенный и увлекательный,
коему нельзя научиться в пиитиках, ни подражать с помо-
щью искусства, если он не зажжен в нас рукою природы и
который один творит истинных лириков. В лирических про-
изведениях его не найдешь сих од торжественных, писанных,

так сказать, под руководством личных вдохновений, на такой-то случай или день, и не переживающих в памяти любителей поэзии ни случая, ни дня, ни героя, для коего они были изготовлены. Паскаль говорил, что вся поэзия заключается в *бедственном лавре, прекрасном светиле* (*laurier fatal, bel astre*) и тому подобных выражениях. Паскаль доказал, что можно при уме глубоком и обширном не иметь чувства поэзии; но если бы кто у нас сказал, что, за исключением первенствующих лириков, язык лирический составлен из *райских кринов*, из безответных вопросов: *что зрю? какой восторг! куда парю?* – то доказал бы, что он с прилежанием вникнул в тайну многих наших лириков. Не подражая рабски и слепо предшественникам своим на поприще лирической поэзии, наш поэт умел себе присвоить род, еще не испытанный ни Ломоносовым, ни Петровым, ни Державиным. Два образца, которые приличнее назвать лирическими поэмами, нежели одами, доказывают, что можно, и не ревнуя в звучности и плавности с отцом нашей поэзии, ни в смелости порывов и выражений с двумя его преемниками, занять место почетное в числе лириков. – «Ермак», «Освобождение Москвы», «Глас Патриота» исполнены огня поэтического и, что еще лучше, если оно в таком случае не одно и то же, огня любви к отечеству, не сей любви грубой, которая более охлаждает душу читателей, но любви возвышенной, переливающей в других пламень животворный, коим она согревается. Тут лирик, *напрягши ум, наморщивши чело*, не караб-

кается на ходули восторга, даже и неискusstвенного, не заменяет плоскости тщедушного своего предмета пухлостью выражений; но возвышается наравне с ним и заимствует свой жар от чувства, которое им овладело. «Ермак» – мрачная и угрюмая картина, в коей поэзия та же живопись; не знаю только, употреблены ли в ней с верностью краски местные и сродные лицам и сцене, на коей они действуют. Драматическое движение, данное сему произведению, есть опыт новый и мастерской. Стих:

И вскоре скрылися в тумане, –

легкая черта необыкновенного искусства. Она довершает картину превосходным образом. Воображение следует взором за шаманами, скрывающимися в тумане, как и самая слава их отечества, которое они оплакивают. Бой Ермака с Мегмет-Кулом оживляется в глазах читателей, и звучность стихов, разительных и твердых, дополняет обманом слуха обман глаз, обольщенных искусством поэта. – Г-жа Сталь в «Десятилетнем изгнании» говорит: «Русский язык очень звонок; я готова сказать, что в нем есть что-то металлическое». Можно подумать, что она сделала это заключение, слушая стихи из упомянутого отрывка.

В «Освобождении Москвы» более движений и действия, чем в нескольких песнях «Россиады», выбранных на произвол. Поэт дает в первом произведении образец живописный

боя или поединка, здесь образец битвы. Сжатая, но мастерскими чертами означенная картина ужаса, распространяемого пирующею смертью, отличается отделкою совершенною. Тут, в нескольких стихах, приведено все, что может возбудить в сердце чувство сострадания к жертвам войны и опустошения, всегда ей сопутствующего. Вообще сии два произведения носят на себе отпечаток силы без напряжения, смелости без своевольтва, искусства без принуждения, что составляет в поэте нашем отличительные признаки его лирического дарования. Желательно, чтобы данный им пример: почерпать вдохновение поэтическое в источнике истории народной, имел более подражателей. Источник сей ныне расчищен рукою искусною и в ведрах своих содержит все то, что может даровать жизнь истинную и возвышенную поэзии. Пора, выводя ее из тесного круга общежительных удовольствий, вознести на степень высокую, которую она занимала в древности, когда поучала народы и воспламеняла их к мужеству и добродетелям государственным. «Должно непременно, – говорит г-жа Сталь в помянутой книге, – чтобы русские писатели почерпали поэзию в ближайших чувствах, таящихся у них во глубине души. Они донныне, так сказать, шевелят только губами, и никогда народ, столь пылкий, не может быть растроган такими глухими звуками!» Постараемся избежать сего справедливого упрека, и пусть поэзия, мужая вместе с веком, отстаёт от игр ребяческих, в коих нежится ее продолжительное отрочество.

В «Гласе Патриота», может быть, преимущественнее царствует сей восторг, сии лирические движения, о коих многие толкуют, но кои не многим известны. Стихотворение сие было писано поэтом в Сызрани, по неверному и, так сказать, еще пророческому известию о решительной победе Суворова над поляками. Поэт разуверился в истине воспетого им торжества; но не менее того послал он свои стихи к Державину, по привычке доверять ему все вдохновения своей музы. Они получены были в Петербурге почти в одно время с известием о пленении Костюшки и тотчас напечатаны Державиным, на счет кабинета, с переменою стиха:

Исчезла Собиесков слава! –

В СТИХ:

Костюшкина исчезла слава! –

перемена, скажем мимоходом, более историческая, чем поэтическая. Весь город и сама Екатерина почитали тогда сии стихи за стихи Державина, замечая в них некоторые его приемы и рассчитывая, что в отдаление не могло еще дойти известие, только перед тем в Петербурге полученное. В сем стихотворении нет, конечно, исполинской силы и роскоши поэтической, которые видим в произведении Державина, писанном на то же событие; но зато нет в Державине искусства, осторожности, не вредящей, впрочем, смелости движе-

ний лирических, и вообще той отделки и чистоты, которые отличают нашего поэта.

В стихах «К Волге», как и во всех его других, не обнаруживается стремительность пламенная, которая, преодолевая все оплоты, исторгает и невольное удивление; но видно сие искусное благоразумие поэта, предписывающее ему советоваться с своим гением и пользоваться принадлежностями, ему сродными. Поэт, воспевая Волгу, не увлекается, подобно певцу «Водопада», воображением своенравным и неукротимым; но, управляя им, описывает верно и живо то, что видит, и заимствует из преданий исторические воспоминания для отделки картины не обширной, не яркой, но стройной, свежей и правильной.

«Размышление по случаю грома» – содержит стихи сильные, точные, где слова, так сказать, в обрез и наперечет, заставляют забывать о недостатке рифмы, – украшения стихов хороших и необходимости стихов посредственных. Свое содержание, кажется, заимствовано из немецкой поэзии. В одах Горацианских подражание оде I из III книги может назваться классическим. – Песни его долго пользовались – одни с песнями Нелединского, – славою быть присвоенными полом, для коего они пишутся, в то время когда русский язык не был еще признан грациями. Мы имеем множество песен, но большая часть из них могут быть уподоблены древним монетам, покоящимся в кабинетах ученых, но не пускаемых в обращение; если из огромных песенников на-

ших исключить все песни, которые не поются, то пришлось бы книгопродавцам преобразовать свои толстые томы в маленькие тетрадки.

Как Фонвизин один написал русскую комедию, в коей изобличаются дурачества и пороки не заимствованные, а природные, не пошлые, а личные; так и наш поэт один написал и, к сожалению, одну русскую сатиру, в коей осмеивается слабость, господствовавшая только на нашем Парнасе. «Недоросль» и «Чужой толк» носят на себе отпечаток народности, местности и времени, который, отлагая в сторону искусство авторское, придает им цену отличную. Легко можно написать комическую сцену или десяток резких стихов сатирических при таланте и начитанности; но быть живописцем образцов, посреди коих живем, писать картины не на память или наобум, но с природы, ловить черты характеристические, оттенки в физиономии лиц и обществ можно только при уме наблюдательном, прозорливом и глубоком. Тогда удовольствие соединяется с пользою в произведении искусства, и автор достигает высоты назначения своего: быть наставником сограждан. – «Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры», если не везде равно выдержан, то по крайней мере отличается блестящими и мужественными стихами и вообще одушевлен тем благородным негодованием, которое было Аполлоном римского сатирика. – Перевод из Попа, хотя и поставлен в числе посланий, может почтен быть за сатиру, в коей поэт остроумно, а иногда и с чувством, жалуется

другу своему на положение в обществе автора, коему нередко жить худо и от друзей и от врагов его. Сей перевод отделан тщательнее и удачнее предыдущего: свобода в стихосложении, правильность и красота слога, почти везде постоянная естественность языка стихотворного дают право назвать сие произведение и первым опытом, и едва ли не лучшим образцом такого рода поэзии на языке нашем.

«Послание к Карамзину» изобилует красота живописной поэзии и вообще ознаменовано духом уныния трогательного, потому что в нем отзывается истина чувства, а не холодное притворство поддельной чувствительности. Стихи «К графу Румянцеву» отличаются легкостью, приличием, тонкостью вежливости, обнаруживающею дарование природное, но воспитанное и изощренное в обществе: так писали французы в лучшее время их литературы, но никто так не писал у нас до нашего автора. – Сколько истинной поэзии и чувства в послании «К друзьям», которое одно могло бы, если нужно, служить доказательством, что достоинство поэта нашего не ограничивается одним искусством и умом живым, но всегда холодным, когда душа не участвует в его творениях! Вольтера также упрекали в недостатке чувствительности, но его стансы «К Сидевиллю», которые если не с искусством, то по крайней мере с чувством переведены Херасковым, красноречиво опровергают такое нареkanie. Обвинителям нашего поэта назову стихи «К друзьям», и если они сами не носят в себе души черствой, то должны при-

знать, что и сквозь наружность, часто холодную, отражается в его даровании душа теплая и внимательная к сладостным вдохновениям уныния.

Но в роде легких стихотворений, о коих с таким неуместным презрением говорит и спесивое педантство, оценивающее произведения искусства на вес, и тупое невежество, которое не скоро разглядывает и тускло видит, – поэт наш сколько написал прекрасного? Многие, придерживаясь буквального значения так называемых легких стихотворений, полагают, что они так называются потому, что всякому их писать легко, забывая или вовсе не зная, что самая легкость наружная есть часто вывеска побежденной трудности. Искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природою или похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения и зависти; впрочем, в последней дани ей немногие и отказывают.

Какая стройность в языке, какое мастерство в стихосложении блестит в стихах «К Дельфире», «К ней же» и в других, написанных к женщинам! Прекрасный пол может, посредством их, примириться с русскими стихами и по ним учиться красотам языка, который еще ожидает, чтобы умные женщины присвоили его себе и ввели в употребление для разговора. Какая свежесть и прелесть в стансах «К Карамзину», в стансах: «Я счастлив был!». Сколько игривости и любезной небрежности в стихах: «Отъезд к Маше!». В сих игрушках ума незаметен труд авторский: кажется, что стихи написаны не пером рачительным, а набросаны рукою легкою и свое-

вольною. В *надписях, эпиграммах* и других мелких стихотворениях поэт наш открыл дорогу своим преемникам. До него не умели ни хвалить тонко, ни насмеяться остроумно. Мадригалы и эпиграммы наших старых умников давно поблекли или притупились и пробуждают разве одну закоренелую улыбку привычки на устах их суеверных поклонников. Мелочи нашего поэта у всех в памяти и присвоены общим употреблением. Кто, видя безобразную живопись, не вспоминает об Ефреме? Кто, встречая супруга, каких много, не готов напомнить ему «Супружнюю молитву» или, встречая иного вельможу, не готов воскликнуть: «И это человек!» Кому не приходило в голову или, лучше сказать, в сердце сказать с поэтом у ног милой женщины:

Ты б лучше быть могла, но лучше так, как есть!

Кто из родителей, имевших несчастье оплакивать смерть детей, не признает истины и силы стиха, как бы вырвавшегося из родительской души, пораженной утратою:

О небо! и детей ужасно нам желать!

В других родах стихотворства поэт оставил нам, как мы видели, образцы своего дарования, образцы изящные, и мы сожалеем, что оставил их не более. В баснях завещает он нам славу полную. Число басен, им написанных, доказывает, что он занимался ими охотнее, нежели иным родом поэзии; но из

того не следует, что сей род свойственнее других его дарованию. По слогу и стихосложению Хемницера видим, что ему можно было писать только одни басни; но басни И. И. Дмитриева, если б и не оставил он других памятников поэтических, служили бы доказательством, что его гибкое дарование способно к разнообразным изменениям. Кажется, неоспоримо, что он первый начал у нас писать басни с правильностию, красивостию и поэзию в слоге. Говорить не в шутку о карикатурных притчах Сумарокова смешно и безрассудно: обыкновенно простота его есть плоскость, игривость – шутовство, свобода – пустословие; живопись – местами яркое, но по большей части грубое малярство. О Хемницере мы уже осмелились сказать свое мнение: басни его наги, как истина, пренебрегшая хитрости искусства, коего союз ей нужен, когда она не столько поражать, сколько увлекать хочет, не столько покорять, сколько вкрадываться в сердца людей, пугающихся наготы и скоро скучающих тем, что их непостоянно забавляет. Согласимся, что если нравственная цель басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней следов пиитических, и в оправдание приговора нашего, если покажется он излишне строгим, заметим, что мы здесь судим более о литературном, чем о нравственном достоинстве басни. Барков, более известный по рукописным творениям, нежели по печатным переводам классических поэтов древности, переложил в шестистопные стихи все басни Федра. В переводе своем старался он придерживаться краткости и точности под-

линника, и за исключением выражений обветшалых, черствых и какой-то тупости в стихосложении, пороков, кои должно приписывать более времени, нежели поэту, – басни его и теперь еще можно читать с приятностию, хотя они и преданы забвению несправедливому. Херасков оставил нам полную книжку басен, подпавших жребию его трагедий и комедий; большая часть из них отличается скудостью мыслей и слабостию изобретения, но притом и легкостию в стихосложении и свободою в рассказе. Майков, творец нескольких поэм комических, в коих главный недостаток есть отсутствие комической веселости, то есть души подобных творений, написал также довольно число басен *нравственных*, по выражению издателей, но не пиитических, по приговору критики. Вероятно, что в них достойнейшими примечания стихами могут быть следующие. *Лягушки, просящие о царе*, описывая Юпитеру картину беспорядков от безначальства своего, говорят, что у них сильные притесняют слабых:

И кто кого смога,
Так тот того в рога.

Сии лягушечьи рога могут идти в собрание редкостей естественных, или лучше сказать сверхъестественных, коими своенравная природа угощает на заказ некоторых из наших баснописцев. Лучшее доказательство первенства нашего автора в числе русских баснописцев есть то, что, не при-

мер Сумарокова и Хемницера, о других и говорить не кста-ти, но его пример возбудил многих подражателей и обогати-тил поэзию нашу баснями, не в соразмерности по числу хо-роших с другими отраслями поэзии. Напрасно заключают многие из богатства нашего, что басни легче другого пишут-ся. Од, буде называть одами все то, что выпущено у нас в свет под сим общим названием, не менее, если не более ба-сен; причина тому, что никто из поэтов не действовал на об-щий вкус сильнее Ломоносова, Державина и Дмитриева. Вот главнейшая причина, а другая та, что басня если не легче, то скорее пишется, чем послание или иное творение, при-надлежащее к роду легкой поэзии и обыкновенно требующее большего числа стихов; прибавим еще, что басня, имея все-гда общенародную занимательность, естественнее влечет к подражанию, нежели другое произведение, которого досто-инство зависит иногда от условий личных и местных. Здесь, вероятно, источник изобилия нашего в сем роде литерату-ры. Оставляя догадки более или менее замысловатые, на ко-их основывают происхождение басни, постараемся прииск-ать особенно нам сродную и нравственную причину укорене-ния баснотворства у нас. Яркая черта ума русского есть насмешливость лукавая; но наша острота, не заключающая-ся, как острота французская, в игре слов или тонком вы-ражении мысли, есть более живописная. Французские шут-ки беглы и, так сказать, не осязательны, как двусмысленное значение или переливающиеся оттенки слов, из коих они со-

ставлены; наши обыкновенно в лицах и более говорят чувству, чем понятию. Французский остроумец ловко и проворно действует орудием остроты и колет им свою жертву; русский владеет кистию, коею расписывает лица на смех. Шутки французские вырываются под вдохновением Аполлона и напоминают, что он вооружен стрелами меткими и язвительными; наши отзываются добродушием веселого Мома, который насмехается, чтобы смешить и смеяться. Всякая французская насмешка годится на острие эпиграммы или сатирического куплета; лучшие русские шутки могут служить основой забавных карикатур. Заметим, что при насмешливости ума русского законы нашего общежития, подкрепленные, а может быть, и порожденные законами государственными, не позволяя ему преступать тесные границы, назначенные строгим уважением к личности и ко многим освященным условиям, обязывают его прибегать к уловкам лукавства, когда он хочет предаваться господствующей своей склонности. И после того легко согласиться можно, что басни должны были укорениться у нас и часто утаивать, под своим покровом, обнажение истины или слишком смелой, или слишком язвительной. Обращая внимание на русские пословицы, сей отголосок ума народов, найдем еще новые доводы сродства нашего с баснями: сколько из них живописных и драматических, в коих герои Езопа играют важные роли, и сколько из них могут служить основой басен.

«Говорят, что Лафонтен ничего не изобрел: он изобрел

свое искусство писать, и его изобретение не сделалось общим». Так судил Лагарп во Франции, и так, без сомнения, судил бы он у нас о нашем Лафонтене. Нет сомнения, что поэт наш более всех породнился с своими подлинниками; но достоинство его заключается не в том, что он не отстывает от Лафонтена и Флориана и удачно подражает их красотам, а в том, что он у нас превосходит и что красоты стихов его, правильных, изящных и живых, суть красоты на языке нашем образцовые. Шамфор говорит о Лафонтене: «Ему одному предоставлено было сочетать в краткости аполога оттенки резкие и краски противоположные. Часто одна басня соединяет в себе простоту Марота, игривость и замысловатость Воатюра, черты поэзии возвышенной и несколько таких стихов, кои силою смысла навсегда врезаются в памяти». Естественное применение сего суждения к автору, о коем пишем, само собою представится уму читателей, вникнувших в его искусство. Какое постоянное разнообразие в слоге, приемах и украшениях и какая везде верность в порядке выражений, картин и принадлежностей.

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры.

Какое мастерское изложение! Будь разговор начат тростию, а по дубом, и этот стих неуместною важностию погрешил бы против верности: здесь он отвечает и лицу, выглядывающему из-за дуба, и самому преимуществу, данному при-

родою гордому временщику лесов над слабою и смиренною тростию. Мы остановились на первом примере, который нам встретился, по подобных примеров найдется тысяча, еще разительнейших. А. Е. Измайлов, критикуя, в хорошем сочинении своем: «О рассказе басни», следующий стих за приведенным выше: «Жалею, Дуб сказал, склоня к ней важны взоры», говорит: «Дуб не имеет глаз, следовательно, не может склонять взоров. Деревьям и растениям позволяется в басне только говорить, а не действовать, подобно животным». Кажется, что сие замечание более изыскано и строго, чем справедливо. Если в басне вся природа, одушевленная и вещественная, пользуется преимуществом словесных тварей и даром размышления, то можно, кажется, ей без исключения дозволить и видеть и слышать наравне с другими животными. – Здесь приходит на ум вопрос естественный: если отказать дубу в глазах, то как же увидит он трость и рассмотрит, что она растет

На тонких берегах владычества Эола?

Приписывать дубу *зрение* внутреннее, которое не всеми признается и в людях, подверженных действию магнетизма животного, еще гораздо сверхъестественнее и произвольнее. Баснь «Дуб и Трость» была любимейшею баснею Лафонтена; не соглашаясь с ним, не отдадим исключительного преимущества над другими и переводу, хотя по слогу стоит он в

числе лучших произведений нашего поэта. За исключением двух слов, неправильно употребленных (*злачна* вместо *злачного*; *воружась* вместо *вооружась*), вообще все стихи совершенны, а иные отделяются еще и от общего совершенства блеском преимущественным и красотой отличною.

Лучшие басни его, по нашему мнению, следующие: «Дуб и Трость»; «Петух, Кот и Мышонок»; «Мышь, удалившаяся от света»; «Чижик и Зяблица»; «Лиса-проповедница»; «Два голубя», «Человек и Конь»; «История»; «Прохожий»; «Два друга»; «Кот, Ласточка и Кролик»; «Воспитание Льва»; «Три Льва»; «Смерть и Умиравший»; «Жаворонок с детьми и Земледелец»; «Старик и трое Молодых»; «Искатели Фортуны»; «Царь и два Пастуха». О них почти то же можно сказать, что сказано перед тем о некоторых стихах из «Дуба и Трости»: они лучшие не потому, чтобы остальные были посредственны, но лучшие из басен нашего поэта, которые суть лучшие на языке нашем. Прилагательное: *лучшее* имеет смысл относительный и личный; посредственное в Хераскове было бы лучшим в Николеве, а *лучшее* Хераскова обыкновенным в Державине. По красивости в слоге и живости в поэзии назвали бы совершеннейшею басню: «Чижик и Зяблица», если бы нравственное ее содержание было занимательнее, а предмет глубокомысленнее или замысловатее. Какая утренняя свежесть в начальных чертах! сколько чувства и простоты в стихах:

Но без товарища и радость нам не в радость:
Желаешь для себя, а ищешь разделить.

Смотрите далее, как темнеет светлая и веселая картина по мере приближающейся грозы: перед вами оживляется сельское зрелище, не уступающее в живости и разнообразии ни кисти художника, ни творению самой природы. Томсон и Делиль не лучшими стихами живописали природу и предали свои поэмы бессмертию. Но почти жалеть должно о роскошестве поэта, истощившего все богатство поэзии для выражения истины обыкновенной, хотя и облеченной в хорошие стихи:

Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит,
Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит.

Конечно, можно выисканными применениями вывести из нравочения сей басни последствие обширнейшее; но подробности поэзии, столь увлекательной, не позволяют вниманию оставить их для искания истины удаленной, и между тем как услаждают они воображение, не удовлетворяют достаточно потребностям ума, который ищет пищи существенной и под цветами удовольствия. Заметим здесь мимоходом, с каким искусством разнообразит наш поэт описание грозы, которое встречается у него в нескольких стихотворениях. В «Мыши, удалившейся от света» – рассказ мастерской: как шутки повествователя важны и как забавна его важность!

Не наблюдайте искусного равновесия, и тотчас забавность сбивается на шутовство, а важность переходит в принужденность и безобразное напряжение. Какая историческая точность и ясность в отправлении посольства, в речи, произнесенной им перед *затворницею!* – Лафонтена сравнили с Мольером, но не по комедиям, а по басням. В нашем поэте проскакивают несомнительные признаки комического дарования. Соглашаясь с Шамфором, который говорит, что баснописец, перенося в свои басни изображение нравов, присвоивает апологу одну из прекраснейших принадлежностей комедии: характеры; прибавим, что разговорный язык поэта нашего, встречающийся в баснях и сказках его, удостоверяет нас, что он, верный в изображении лиц, умел бы сохранить ту верность и в языке, коим он заставил бы говорить их на сцене. Стихотворный комический язык у нас еще не существует, несмотря на некоторые опыты, довольно удачные; женщин заставляют говорить на сцене книжным языком, – но светские женщины не хотят учиться языку, покоренному правилам: везде своенравные, они сами творят свои правила и самих законодателей языка научают им повиноваться. Как нам позволительно жаловаться на иных, что они завладели комическою сценою, так нашему поэту можем пенять, что, уполномоченный комическою музою, не хотел он огласить своих законных прав на сцену, хотя одним опытом, хотя для того, чтобы вывести на нее «Трисотина и Вадиуса», которых так забавно заставлял он говорить по-русски.

В басне: «Два Голубя» он дает нам лучшие образцы стихов элегии, а в «Дон-Кихоте» лучший образец стихов пастушеских. «Человек и Конь» не изобилует, как другие басни, роскошью поэтической, но стихами полными, живыми и нравовучением глубокомысленным входит в число лучших философических басен, то есть в лучшее отделение басен. В «Воспитании Льва», едва ли не превосходнейшей басне рассудительного Флориана, переводчик достигнул совершенства повествования строгого, отвечающего важной нравственности содержания. Как забавно мимоходом придает он торжественным одам *мохнатых певцов* казенные выражения лириков, осмеянных в «Чужом толке»! Какая верность в языке зверей, призванных львом на совет, из коих каждый намеками выдает прямо себя за лучшего наставника новорожденному львенку!

Советы и везде почти на эту статью, –

прибавляет опытный наблюдатель с простосердечным лукавством. С начала до конца слог в сей басне тверд, исправен; стихи все до одного *выбиты* мастерски. В нынешнем издании поэт присоединил ее к сказкам, но мы сомневаемся в справедливости такого разделения. Всякое повествование, в коем действуют животные или предметы вещественные, свойственнее причислить к басням, несмотря на слог и драматический ход повествования. Краткое повествование,

в коем действуют одни люди или существа возвышеннейшие, принадлежит к сказкам.

«Кот, Ласточка и Кролик» почитается одною из лучших басен Лафонтена. Прочтите басню в переводе и подивитесь творческому искусству переводчика; говорим: *творческому*, ибо достоинство изобретения состоит здесь не в вымысле содержания, но в употреблении языка и красок, кажется, несовместных с поэзиею. Как естествен *крысодав*, как хорош этот постный, но между тем *жирный кот*, или, вероятно, оттого и жирный, что он постный: *муж свят из всех котов!* В баснях любят иногда присвоивать собственные имена людей зверям, выводимым на сцену; это гораздо легче, нежели присвоивать им кстати страсти и слабости людские. Наш баснописец только здесь следовал сему обыкновению, и единственно для того, что кролику нужно было на доводах родословия утвердить право собственности.

Басни: «Орел и Каплун» и «Магнит и Железо» суть счастливые подражания басням Арно, одного из лучших современных нам поэтов французских. В пятом издании своих стихотворений наш поэт воспользовался примечанием А. Е. Измайлова на окончательные стихи первой из помянутых басен. Так истинное дарование сознается в своих ошибках и дорожит советами добросовестной и благоразумной критики; но с другой стороны, презирает прицепки вздорливого недоброжелательства и приговоры взыскательного невежества.

Если достоинство стихов приносит честь искусству поэта, то выбор содержания басен не менее приносит чести образу его мыслей и чувствований. Все басни нашего переводчика имеют цель более или менее философическую; и басня, которая должна быть прозрачным покровом истины, никогда не служит у него нарядом лести или прикрасою какого-нибудь мнения в чести. К сожалению, признаться должно, что у Лафонтена цветы прекраснейшей поэзии темнели иногда от курений лести; но он остался другом гонимого Фуке, ходатайством за него в стихах прекрасных пред троном, и поэты не краснеют за собрата, обольщенного приманками власти, но не развращенного ими. Должно при сем вспомнить, что Лафонтен жил в такое время, когда обычаем, освященным давностию, писатель не мог обойтись без покровителя, а покровитель без раболепной приверженности, в царствование счастливого властителя, который приковал к колеснице своей дарования и славу великих мужей века, приявшего от него свое имя, но от них свой лучший блеск и прочнейшую славу. Лудовик XIV обольщал и унижал писателей, осаждавших его двор. И как дорого платили они за почести, которые могут возвысить людей ничтожных, но ничтожны для людей, возвышенных неземным достоинством. Великий Расин, ко-его гений обширный умел возноситься до великих событий истории, но душа слабая не умела быть выше дневных обстоятельств и мелких неудач, умер жертвою царской немилости. Лафонтен, долго по недоброжелательству вельмож не

был допускаем до почести академической, которая во дни *золотого века* была высшею метою невинного честолюбия величайших умов. По смерти приятельницы своей едва не отплыл он в Англию – искать себе пристанища и покровителей. Пусть такие разительные примеры и многие другие, если голос внутреннего убеждения недостаточен, научают писателей дорожить независимостию и служить одной истине, а не лицам, как они ни щедры на обольщения и как она ни скупа и ни медленна в наградах.

Издание басен поэта нашего, сличенного с русскими его предместниками и последователями, обогатило бы словесность нашу книгою, которой ей недостает: впрочем, мы богаты недостатками. Но хороших басен у нас довольно для того, чтобы родить желание любоваться своими богатствами и с разборчивостию заняться их оценкою. – По счастью, совершенство нашего баснописца не испугало, а подстрекнуло к соревнованию многих истинных поэтов; прибавим: к сожалению, многих и подложных; но они неизбежные гаеры, следующие по пятам за каждым образцовым дарованием.

В числе первых сыскался один, который не только последовать, но, так сказать, бороться дерзнул с нашим поэтом, переработывая басни, уже им переведенные, и басни превосходные, и мы благодарны ему за его смелость. Привлекая нас к себе, он не отучает от своего предшественника; и мы видим, что к общей выгоде дорога успехов, открытая дарованию, не так тесна, как та дорога, на коей, по замечанию ост-

роумного Фонвизина, «двое, встретясь, разойтись не могут, и один другого сваливает». Но г. Крылов, с искренностью и праводушием возвышенного дарования, без сомнения, сознается, что если не взял он предместника за образец себе, то по крайней мере имел в нем пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам. Если и не ступать по следам пробитым, то все легче идти по дороге, на коей уже значатся следы. Г-н Крылов нашел язык выработанный, многие формы его готовые, стихосложение – хотя и ныне у нас еще довольно упорное, но уже сколько-нибудь смягченное опытами силы и мастерства. Между тем забывать не должно, что он часто творец содержания прекраснейших из своих басен; и что если сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его, который был изобретателем своего слога, то оно велико в сравнении с теми, которые не изобрели ни слога, ни содержания своих басен, как говорит Арно, сравнивая с Лафонтеном себя и других французских баснописцев в предисловии к своим замысловатым и эпиграмматическим басням.

Здесь видели мы поэта счастливым победителем предшественников, образцом, открывшим дорогу последователям и соперникам. В сказках найдем его одного; ни за ним, ни до него никто у нас не является на этой дороге, проложенной новейшими писателями; они одни могут в обществе, устроенном по новым условиям образованности, ловить черты и краски действия ограниченного, но богатого оттенками, ко-

торое обыкновенно служит основой сказки. Наш отличный сказочник соединяет в себе все, что составляет и существенное достоинство и роскошество таланта в сказочниках, которые и у всех народов на счету. Нигде не оказал он более ума, замысловатости, вкуса, остроумия, более стихотворческого искусства, как в своих сказках; оставь он нам только их, и тогда занял бы почетное место в числе избранных наших поэтов, и тогда могли бы мы перед иностранцами похвалиться быстрыми успехами в поэзии ума и философии, которая всегда является долго после поэзии природной, живописной и чувственной, царствующей иногда с блеском и у народов диких. Мы сказали, что поэт не имеет в этом роде предшественников; ибо некстати говорить здесь о сказках, которые читаются, хотя и не печатаются, а еще менее о тех, которые хотя и напечатаны, но не читаются. У него почти совсем нет и последователей, и решительно ни одного соперника. Сумароков (Панкратий) писал сказки; но они, в сравнении с сказками нашего поэта, то, что святочные игрища в сравнении с истинною комедиею. В его сказках встречаются забавные положения, стихи удачные и смешные; но при самом смехе грустно смотреть на дарование, которое, не довольствуясь улыбкою зрителей образованных, дурачится и ломается, чтобы возбудить громкий хохот райка. Райком не должно пренебрегать ни в каком отношении; но не его вкусу потребно угождать в творениях искусства, а лучше стараться его образовать под лад изящного просвещения, чем

развращать вкус образованный – потворством и угождениями невежеству. Карамзин выдал начало прекрасной богатирской сказки, которая более принадлежит к числу народных поэм и совершенно отделяется от рода сказок философических и нравственных, о коих идет здесь речь. Батюшков написал сказку, отличающуюся поэтическими подробностями. В сказке: «Осел Кабуд», усеянной забавными чертами, В. Л. Пушкин оказал много искусства в повествовании; но они обе перенесены на сцену нам чуждую, где предстояло дарованию более свободы в действии и, следовательно, менее славы в успехе. Наш сказочник не оставляет нас: он замечает то, что каждый из нас мог заметить; умея наблюдать, рассказывает то, что всякий мог рассказать, имея дар повествования. *Модная жена* – нам коротко знакомая, добрый супруг ее *Пролаз*, который *невинным ремеслом дополз до права ездить шестеркою в карете*, человек, с коим встречаемся на всех перекрестках, на всех обедах именинных и карточных вечеринках. *Миловзор* – образец всех *угодников дамских*, только с тою разницею, что они не переняли у него искусства изъясняться правильно и красиво на языке отечественном. Припадок чего-то такого, которого и поэт не умел назвать, и нежные ласки *Модной жены*, место действия, принадлежности и приборы, спасительная догадливость добрых пенатов, *фидельки* и *попугая*, все это блестит историческою верностию, в коей убеждаемся не доверенностию к повествователю, а особенными опытами и чувствава-

ниями. – Картина *Ветрова* изъясняет нам, что есть жених и что есть муж. – В обломках посуды бедного *Альнаскар* многие воздушные строители видят развалины своих недостроенных зданий; но многие ли его примером отучатся строить на воздухе? Едва ли? и полно, жалеть ли о том? Удивительный Вольтер, пленительный в сказках, как и везде, говорит в своей «Причуднице»:

Ah! croyez moi, l'erreur a son merite!²

Несчастный смертный, коему судьба отказывает часто в уголке земли, на коем мог бы он утвердить хотя одну надежду, должен по крайней мере иметь свободный вход в область мечтательную, где, будучи хозяином наравне со всеми, может он выгрузить избыток своих ожиданий и уходить беспокойную деятельность упований, часто обманутых, но никогда не разуверенных. – «Причудница» нашего стихотворца едва ли не драгоценнейший жемчуг его поэтического венца; *Ветрана* хотя и перенесена в годы, современные старой Руси, но, по нраву своему, пресыщению и скуке от счастья (которую излечить труднее, нежели скуку от несчастья, тому, у кого нет, как у *Ветраны*, доброй *Всеведы*, бабушки, умеющей ворожить), принадлежит также и нашему веку и всем векам, в коих люди будут неблагоприятны в своих желаниях и ветрены и непризнательны к провидению. – Разбирать ли

² О, поверьте мне, заблуждение имеет свое достоинство (*фр.*).

поэтические красоты, черты веселости, остроумия, тонкой насмешки, пленительной замысловатости, коими изобилуют сии сказки? Должно будет повторить в длинных выписках стихи, читанные, перечитанные и уважаемые сведущими любителями русской поэзии; но если найдутся в России из образованных читателей такие, которые еще не успели узнать их за недосугом, то чем же лучше услужить им, как советом прочесть их в первый час свободный?

Имел ли наш поэт, на поприще своих литературных успехов, недоброжелателей и завистников? В Древнем Риме торжественная колесница победителя въезжала в город, окруженная и народом благодарным и толпою невольников, которые, вероятно, не разделяли общей радости и про себя сопровождали клики восторга ругательствами ненависти и досады. Торжество писателя также ведет за собою толпу враждующих невольников; но разница в том, что они громкими поношениями своими прерывают отголоски раздающихся похвал и что народ в наши дни, жадный любитель всяких зрелищ, не налагает молчания на дерзкие уста ненавистников дарования. Презирая их ремесло, он как будто радуется оскорблениям, которые наносят они славе возвышенной; можно подумать, что такие оскорбления облегчают для него бремя уважения, которое всегда под конец становится ему тяжким. Толпа любит возносить угодников временной своей горячности; но обыкновенно сердится на тех, которые держатся на высоте собственными силами: в первом случае

ей весело и лестно быть покровительницею; в другом оскорбительно быть постоянною данницею невольного почтения. Впрочем, наш поэт, наравне со всеми другими писателями русскими, за исключением Богдановича, имевшего в Карамзине критика просвещенного, не был еще разбираем ученым и поэтическим образом. Нельзя назвать критикою статьи журнальные, писанные бегло и поверхностно о книгах, вновь выходящих. В иных, а преимущественно в статьях, напечатанных в «Московском Меркурии» и «Цветнике», оценены со вкусом некоторые из достоинств поэта. В других, писанных под вдохновением недоброжелательства и криводушия, встречаются одни придирки, частью основательные, но более произвольные, которые доказывают единственно, что критики хотели найти много погрешностей в стихотворениях поэта и в самом деле успели выискать их несколько. Один из таких критиков сказал, например, что стихотворение: «Карикатура» – не что иное, как рифменная проза; но на беду свою не догадался, что оно писано белыми стихами; другой, не менее его догадливый, обвиняет поэта, что он пишет *состарелся*, а по *состарѣлся*, когда вся русская Россия говорит и пишет одинаково с автором, и несколько страниц унижал замечаниями, не уступающими этому в справедливости и замысловатости. Достойно сожаления, что возражение на такую критику, писанное Д. Н. Блудовым и могущее служить образцом остроумия и искусства отражать нападения несправедливые, не имело доступа к современным

журналам. Нельзя довольно надивиться, что у нас, когда ничтожнейшее замечание на игру актера или малейшее оскорбление, нанесенное неприкосновенному величеству писателя посредственного, зажигает войну перьев, претворяет мирные журналы в шумное поле битвы и вызывает из-под земли тысячу воителей, готовых ратовать до истощения сил физических, и долго по истощении терпения читателей брань, объявленная первым смельчаком писателям заслуженным, не возбуждает ни в ком ратной ревности. Поле битвы бесспорное остается во владении первого наездника на его славу не затем, что он прав, но затем, что он один; «Искони существует, – говорит Даламберт, – заговор тайный и общий глупых против умных и посредственности против дарований превосходных, отделение союза тайного и обширнейшего бедных против богатых, малых против больших и слуг против господ». Наблюдение французского философа не наведет ли и нас на истинную причину, отчего иные из наших писателей должны отвечать каждый за себя, а другие отвечают друг за друга? Но если посредственность внушает своим клеветам дух братства и единочувствия, от коих неудовольствие одного разливается быстро и пламенно по всем звеньям бесконечной цепи, то дарование внушает своим избранным расположение еще лучшее: дух равнодушия и презрение к враждебным усилиям невежества, под какую бы личиною ни выказывалось оно, учености школьной или ложного и феодального патриотизма. И наш поэт, должно

заметить к чести его, хотя способный разделаться и не с нашими Фреронами, никогда не выходил перед публику на защиту своих рифм и уличение невежества, зная, что рано или поздно справится с ним общественное мнение, сей непогрешительный ареопаг, который часто, вопреки нижним судам, произносит решительные и окончательные приговоры.

«Критик скупой на время, говорит замысловатый Ривароль, будет искать пятен в Расине, а красот в Кребильоне». Подобно такому критику, начнем искать погрешностей и в нашем поэте, хотя для того, чтобы потешить людей, которые дорожат чужою ошибкою, думая, что мгновенное затмение дарования придает блеск их постоянной ничтожности. Стараться угождать всем – есть правило, которое в нравственном последствии может завести далеко; но зачем отказывать в увлечении невинном, когда оно предписывается нам и общежитием и вежливостию? Мы замечали, для любителей изящного, красоты поэта и находили в том собственное удовольствие: подумаем и об удовольствии ближнего. Но с чего начать? Как ни размышляем, как ни допрашиваемся беспристрастия, но не находим в поэте порока коренного, отличительного и неразлучного с похвальными его свойствами. Сии последние имеют в нем особенный признак, неизгладимое клеймо первостепенных и других его произведений. Вот они: правильность языка, красивость слога, свобода стихосложения, верный вкус, ум острый и замысловатый, воображение не стремительное, но живое, насмешливость не яз-

вительная, но колкая, совершенство отделки и вообще тот глянец искусства, который преимущественно заметен в творениях французов и придает последний блеск красоте, как художественная оправа удваивает достоинство драгоценного камня. Но где его сторона слабая, доступная, где искать *пяты Ахиллеса*, чтобы предать ее, беззащитную, на свободное уязвление малодушных и задорных самохвалов критики. Повторят ли осуждение, к которому подвергся и Депрео в глазах некоторых французских критиков и которое случалось слышать нам от людей, отказывающих и поэту нашему в первобытном огне творческом, в силе производительной? Но на чем основывать такое обвинение? Разве на том, чего не совершил он для большей славы своей и для бóльшего нашего удовольствия; ибо в том, что он написал, изображается, напротив, мужество жизни, а не хилость бесплодия. Одно творение, один плод, равно как и тысяча, свидетельствует о творческой способности. Многие творения доказывают деятельность дарования, малочисленные лень его; но лень может быть пороком в человеке, а не в поэте. Можем жалеть о ней для себя, но не вправе осуждать его. Авторство не есть обязательство перед публикою, и оттого, что писатель нравится, не следует нам взыскивать, чтобы он тешил нас без отдыха. Обстоятельства жизни, склонности посторонние, занятия государственные отвлекают его от трудов литературных. Если наш поэт посвятил бы себя одной словесности, то, без сомнения, имели бы мы и более творений, и творе-

ния пространнейшие. Итак, можем единственно поживиться несколькими пятнами, из коих большая часть оттого и кидается в глаза, что встречаются в стихотворениях нашего поэта: так малейшая погрешность на зеркале тем бывает значительнее, чем стекло чище и светлее. Даже и сии пятна отзываются более временем, в которое начал он писать, и могут быть скорее почтены оставшимися привычками малолетства, чем пороками личными. Иногда встречаем слова старые, неуместные в поэзии, к коей он сам приучил нас. В одном месте заметили мы употребление слова в неприличном ему значении. В стихотворении: «Калиф» сказано:

Калиф, конечно, самовластен,
И каждый подданный ему подобострастен.

Злоупотребление может быть тираном черни, но должно быть рабом писателей изящных; оно, смешав в один смысл слова *страх* и *страсть*, исказило и значение слова: *подобострастие*, которое, по составу своему и «Словарю академическому», означает подверженность одинаким страстям и могло бы некоторым образом заступить у нас место слова: *симпатии*. Никогда, может быть, злоупотребление не играло так жестоко смыслом слов, как в этом случае: слить в одно значение *страсть*, которая воспламеняет и укрепляет душу, и *страх*, который ее холодит и расслабляет; чувство сладостное сердце нежных, сопряженных таинственной связию ра-

венства, и грустное чувство раболепства, которое приковывает слабого к колеснице сильного! Иногда в стихах его находим излишние усечения слов, которые, по несчастной длине многих из них, бывают у нас иногда необходимы, но вообще безобразят стихи и должны быть употребляемы с большою осторожностью. От хорошего поэта требуется, чтобы стихи его могли быть перелагаемы в прозу и составлять прозу ясную и правильную, говорят те, которые только законодательствуют, а творить ничего не умеют; опыта, коего выдержать не в состоянии ни Депрео, ни Расин, ни Вольтер, первейшие стихослагатели новейших языков, не выдержит и наш поэт. И у него, равно как у них, язык гнется иногда под цепями стопосложения и ярмом рифмы; но зато как часто, подобно воде, угнетаемой и с живейшею силою бьющей вверх из-под гнета, язык сей приемлет новый блеск и новую живость от принуждения. И только! скажут ненасытные наборщики ошибок,

Обильные творцы бесплодных примечаний, –

уличая нас в пристрастии и не жалея о тупости нашего зрения. Оставляя им обширное поле догадок, уступаем и место. Книга пред ними. Уже раздалось в их стране воззвание:

«Товарищи! к столу, за перья!»

Часто нежное чадолюбие авторов и суеверное благогове-

ние к ним их приверженцев любовались в печати изданиями исправленными и умноженными. Но стихотворения, печатанные изданием исправленным и уменьшенным – при жизни автора, и самим автором убавленные, можно назвать явлением редким в литературе и едва ли не первым в своем роде. Жаль только, что пример дан поэтом, у коего не было ничего лишнего, и что, вероятно, не будут подражать ему те, у коих нет ничего необходимо нужного. Впрочем, есть средство исправить и тот и другой недостаток. Часто, назло поэту нашему, пойдем в прежних изданиях искать изгнанников его строгости и оставим в покое у других стихотворцев печатанные и перепечатанные, но никогда не дочитанные, исправленные и вечно неисправленные плоды их отеческой попечительности. Настоящее издание драгоценно, как прекрасный признак скромности писателя и строгости его к себе: любопытно и приятно видеть, как дарование судит себя и, так сказать, начинает быть для самого себя беспристрастным и хладнокровным потомством. Между тем приговоры такие не всегда бывают безошибочны. Виргилий присудил к огню «Энеиду», как творение незрелое. Богданович, как сказывают, мало дорожил «Душенькою» и славу свою основывал на других произведениях, которые без «Душеньки», вероятно, выдали бы его. Державин, разбирая при Жуковском и при мне незадолго перед концом жизни рукописное собрание своих дарений и остановясь на оде «Коварство», сказал: «Вот таких стихов я писать был бы уже не в силах!» Следова-

тельно, полагал он в них более силы и мужественного пыла, чем в песнях «К соседу», «На смерть Мещерского» и других! – В сем издании выбор стихотворений означает в поэте вкус верный; он не имел предпочтительной привязанности к иным творениям, слабейшим пред другими, как многие родители, которые нежнее расположены к тщедушным детям их преклонных лет; но сочинения, им исключенные, и те, которые оставил он единственно по усильному убеждению издателей, доказывают в нем и строгость излишнюю; осуждая ее, в одно время и радуемся ей, как новому праву на уважение наше. Кончим желанием, чтобы со временем другое новое издание не исправленное, ибо и настоящее уже довольно исправно, но умноженное творениями новыми обогатило словесность и порадовало любителей поэзии русской и друзей славы образцового поэта.

Дарование не стареется, а ум обогащается летами. Венки свежих лавров зеленели и на челах маститых. Анакреон, как благодарный питомец и жрец Радости, под сединами осыпал ее алтари цветами яркими и душистыми. Фонтенель, как воин усердный, только из онемевшей руки выпустил оружие, посвященное на служение истине и поражение предрассудков. Можно охолодеть к удовольствию и к наслаждениям честолюбия; но какое сердце возвышенное не забьется с живостью и горячностью молодости при священной мысли о пользе? А кто более писателя-гражданина может служить ей с успехом! Побудитель образованности, вещатель истин вы-

соких для народа, чувствований благородных, правил здравых, укрепляющих его государственное бытие голосом наставлений поражающего негодования или метким орудием осмеяния, целитель пороков невежественных и предубеждений легкомысленных или закоснелых, сих язв заразительных, убивающих в народе начало жизни, писатель всегда бывает благодетелем сограждан, вожатым мнения общественного и союзником бескорыстным мудрого правительства.

1823

Приписка

I

Продолжая проверять себя, то есть прежнего я с нынешним я, после свыше пятидесятилетнего промежутка, как сделано мною в статье об Озерове, могу сказать, что в статье о Дмитриеве вообще остаюсь и ныне при тогдашних моих литературных понятиях и суждениях. Некоторые оттенки могли бы быть изменены или переправлены; но главная основа, главные краски остались бы те же. Те же встречаются и погрешности в слоге и в изложении; но характер и направление в настоящем очерке, может быть, получили развитие еще бо-

лее определенное и полное, чем в очерке Озерова.

Если что из настоящей статьи могло сохраниться в памяти литературы нашей, и отозвалось гораздо позднее в некоторой части нашей печати, то разве впечатление, что я излишне хвалил Дмитриева и вместе с тем как бы умышленно старался унижить Крылова. Всею совестью своею и всеми силами восстаю против правильности подобного заключения: признаю его ошибочным предубеждением или легкомысленным недоразумением.

В самой этой статье говорю о Крылове с искренним уважением. Говорю, например, что он боролся с Дмитриевым, переработывая басни уже им (то есть Дмитриевым) переведенные, и *что мы благодарны ему за его смелость*. Далее говорю: «Что, к общей выгоде, дорога успехов, открытая дарованию, не так тесна, как та дорога (то есть дорога придворная и честолюбия), на коей, по замечанию остроумного Фонвизина, двое, встретясь, разойтись не могут и один другого сваливает». Стало быть, я признаю Дмитриева и Крылова идущими свободно друг другу навстречу или попутчиками, которые друг другу не мешают и могут идти рядом. За Дмитриевым признаю одно старшинство времени: и, кажется, этой математической истины оспаривать нельзя. У нас многие еще не понимают отвлеченной, тонкой похвалы; давай им похвалу плотную, аляповатую, громоздкую, – вот это так. Нужно заметить еще, что Дмитриев в числе первых приветствовал и оценил первоначальные попытки соперника свое-

го. Но всего этого не довольно для пристрастных и заносчивых судей наших: они хотят, чтобы я непременно *свалил* одного из двух, и, разумеется, свалил именно Дмитриева. Но я воздержался от такого побоища, во-первых, потому, что не признаю его справедливым; во-вторых, потому, что это было бы с моей стороны непростительною неприличностью. Статья моя написана была вследствие предложения мне Санкт-петербургского Вольного Общества Любителей Российской Словесности, коему Дмитриев подарил рукопись свою и передал право издать ее в пользу Общества. Уместно ли было бы, при такой обстановке, входить мне в подробное рассмотрение высшей или низшей степени дарования того и другого, а еще более признать неоспоримое преимущество Крылова над Дмитриевым. Как я уже сказал: такого безусловного преимущества не признаю. Каждый из них оделен превосходными достоинствами, ему сродными: вкусы могут быть различны и друг друга оспаривать; но общая нелицеприятная оценка здоровой критики может и должна воздавать каждому ему подобающее. О *бестактности*, о нарушении первых правил вежливости, которые оказал бы я, принося Дмитриева в жертву Крылову в статье, посвященной в честь Дмитриева и в благодарность за подарок его литературному обществу, я уже не говорю: условия и законы *ребяческой вежливости* (*civilite puerile*), общежитийского приличия, сметливости, литературного и нравственного *такта* давно уже вычеркнуты из уложения литературного: остается мне толь-

ко пред новыми законодателями виниться в моей закоснелой отсталости. Не знаю, разделял ли Крылов с другими напущенное против меня предубеждение; но в довольно долгих и постоянно хороших отношениях моих с ним не имел я повода подозревать в нем ни малейшего злопамятства. Впоследствии воспевший и окрестивший *дедушку Крылова*, так что, с легкой руки моей, это прозвище было усвоено всею Россиею, не считаю нужным оправдывать себя долее в поклепе, возведенном на меня, а именно, что я не умею ценить дарование великого и незабвенного баснописца нашего. Припоминаю еще одно обстоятельство, которое ставят мне в вину. Когда-то, в Иванов день, написал я куплеты в честь именинника Дмитриева. В этих стихах упоминаю кстати о тезках его: Иване Лафонтене и Иване Хемнице. А зачем не упомянули вы и об Иване Крылове? строго и грозно допрашивает меня мой литературный следственный пристав. – Не упомянул я о живом Крылове в похвальном приветствии живому Дмитриеву по той же причине, но которой не стал бы выхвалять красоту живой соперницы в мадригале красавице, пред которою хотел бы я полюбезничать. Кто-то – право, не помню, кто именно и где было напечатано, – намекает, что в басне: «Осел и Соловей» Крылов в стихах:

А жаль, что не знаком
Ты с нашим петухом,

имел в виду Дмитриева и меня. Уж это слишком! Усердие не по разуму. Пожалуй еще Крылов в минуту досады мог применить меня к ослу, – но и этому не верю, – а решительно восстаю против догадки, что в лице петуха Крылов подразумевал Дмитриева. Ум и поэтическое чувство его были выше подобной нелепости. Безусловный поклонник Крылова зашел уже слишком далеко. Зачем не вспомнил он стихов его:

И у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть – хватать друга камнем в лоб.

II

У нас никак в толк не берут, что можно любить одного и не ненавидеть соседа его. Он хвалит Дмитриева: следовательно, он ругает Крылова. Вам нравятся блондинки: следовательно, брюнеток признаете вы уродами. Вы пьете красное вино, стало быть, нечего и потчевать вас шампанским. Извините: я и от шампанского не отказываюсь. Хозяин дома спрашивает за обедом гостя своего, чего хочет он: рюмку ли старого токая или старого кипрского вина? *i tego i drugiego*, отвечал поляк. И я тоже говорю: давайте мне Дмитриева и давайте мне Крылова. Нельзя не удивляться способу мышления и домашней логике рецензентов наших. Узка глотка их,

узко их и зрение: в одной сейчас запершит, другое не обнимает двух предметов в настоящем виде каждого из них. Пристрастие *за* или *против* есть своего рода хмель. Он отменяет или искажает светлый и здравый рассудок и трезвую рассудительность. Может быть, ошибаюсь и льщу себе напрасно; но мне сдается, что я природою одарен этою трезвостью. В русском словаре нет слова, которое ясно и вполне выразило бы французское *engouement*, нет его и в моей натуре; нет во мне и противоположного ему безусловного *отвращения*: по крайней мере в известных данных я не приписан *к такой-то земле, к такому-то участку*, не числюсь *при таком-то лице*. Я из числа тех, которые по врожденному чувству, по убеждению, по некоторому навыку сравнивать одни предметы с другими любят отдавать себе строгий отчет в впечатлениях своих. Мне кажется, что я знаю, за что хвалю и за что осуждаю. Могу ошибаться в выводах и заключениях своих: но все же, если и ошибаюсь, то сознательно, а не наобум, не случайно, не на выдержку. Многие часто судят по каким-нибудь косвенным увлечениям; нет прямой и добросовестной оценки, основанной на одном искусстве, на весы падают личные соображения, совершенно посторонние и побочные околичности, иногда даже более или менее политические сочувствия: такой-то писатель не нравится потому, что он аристократ; с ним должно обходиться поостроже; не мешает, не грешно быть к нему и маленько несправедливым; другому многое прощается и многое в нем превозно-

сится, потому что он *плебейнее*, ближе подходит к разряду разночинцев. Критики редко стоят прямо и свободно, лицом к лицу, пред писателями, которых вызывают они на свой суд. Они пред ними стоят на коленях или лежат ничком; другим садятся на голову и придавливают их что есть силы. Правило их вознести до небес или затоптать в прахе.

III

Дмитриев и Крылов два живописца, два первостатейные мастера двух различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: они всем кидаются в глаза и радуют их игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается более правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев, как писатель, как стилист, более художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает. Тут может явиться разница во вкусах: кто любит более читать, кто слушать. В чтении преимущество остается за Дмитриевым. Он ровнее, правильнее, но без сухости. И у него есть своя игривость и свежесть в рассказе; ищите без предубеждения, – и вы их найдете. Крылов может быть своеобразен, но он не образцовый писатель. Наставником быть он не может. Дмитриев, по слогу, может остаться и остался во многом образцом для тех, которые образцами не пренебрегают. Еще одно замечание. Басни Дмитриева всегда басни. Хорош или нет этот

род, это зависит от вкусов; но он придерживался условий его. Басни Крылова – нередко драматизированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо. Разумеется, дело не в названии: будь только умен и увлекателен, и читатель останется с барышом, – а это главное. При всем этом не должно забывать, что у автора, у баснописца бывало часто в предмете не басню написать, «но умысел другой тут был». А этот умысел нередко и бывал приманкою для многих читателей, и приманкою блистательно оправданною. Но если мы ставим охотно подобное отступление автору не в вину, а скорее в угождение читателю, то несправедливо было бы отказать и Дмитриеву в правах его на признательность нашу. Крылов сосредоточил все дарование свое, весь ум свой в известной и определенной раме. Вне этой рамы он никакой оригинальности, смеем сказать, никакой ценности не имеет. Цену Дмитриева поймешь и определишь, когда окинешь внимательным взглядом все разнородные произведения его и взвесишь всю внутреннюю и внешнюю ценность дарования его и искусства его.

IV

Что люди, мне чужие, обвиняли меня в *слабости* к Дмитриеву и в несправедливости к Крылову, это меня не очень озабочивало и смущало. Я вообще обстрелян: и лишний выстрел со стороны куда не идет. Но в числе обвинителей мо-

их был и человек мне близкий; суд его был для меня многозначителен и дорог, он мог задирать меня и совесть мою за живое.

Пушкин, ибо речь, разумеется, о нем, не любил Дмитриева, как поэта, то есть, правильнее сказать, часто не любил его. Скажу откровенно, он был, или бывал, сердит на него. По крайней мере, таково мнение мое. Дмитриев, классик, – впрочем, и Крылов по своим литературным понятиям был классик, и еще французский, – не очень ласково приветствовал первые опыты Пушкина, а особенно поэму его «Руслан и Людмила». Он даже отозвался о ней колко и несправедливо. Вероятно, отзыв этот дошел до молодого поэта, и тем был он ему чувствительнее, что приговор исходил от судии, который возвышался над рядом обыкновенных судей и которого, в глубине души и дарования своего, Пушкин не мог не уважать. Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыс-

кивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него. Как бы то ни было, споры наши о Дмитриеве часто возобновлялись, и, как обыкновенно в спорах бывает, отзывы, суждения, возражения становились все более и более резки и заносчивы. Были мы оба натуры спорной и друг пред другом ни на шаг отступить не хотели. При задорной перестрелке нашей мы горячились: он все ниже и ниже унижал Дмитриева; я все выше и выше поднимал его. Одним словом, оба были мы неправы. Помню, что однажды, в пылу спора, сказал я ему: «Да ты, кажется, завидуешь Дмитриеву». Пушкин тут зардел как маков цвет; с выражением глубокого упрека взглянул на меня и протяжно, будто отчеканивая каждое слово, сказал: «Как, я завидую Дмитриеву?» Спор наш этим и кончился, то есть на этот раз, и разговор перешел к другим предметам, как будто ни в чем не бывало. Но я уверен, что он никогда не забывал и не прощал мне моей неуместной выходки. Если хорошенько порыться в оставленных им по себе бумагах, то, вероятно, найдется где-нибудь имя мое с припискою: *debet*. Нет сомнения, что вспышка моя была оскорбительна и несправедлива. Впрочем, и то сказать, в то время Пушкин не был еще на той высоте, до которой достигнул позднее. Да и я, вероятно, имел тогда более в виду авторитет, коим пользовался Дмитриев, нежели самое дарование его. Из всех современников, кажется, Ка-

рамзин и Жуковский одни внушали ему безусловное уважение и доверие к их суду. Он по влечению и сознательно подчинялся нравственному и литературному авторитету их. С ними он не считался. До конца видел он в них не совместников, а старших и, так сказать, восприемников и наставников. Суждения других, а именно даже образованнейших из арзамасцев, были ему нипочем. Со мною любил он спорить: и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем. В последнее время он что-то разлюбил Батюшкова и уверил, что в некоторых стихотворениях его можно было уже предвидеть зародыши болезни, которая позднее постигла и поглотила его. В первых же порах Пушкина, напротив, он сочувствовал ему и был несколько учеником его, равно как и приятель Пушкина Баратынский. Батюшкова могут ныне не читать или читают мало; но тем хуже для читателей. А он все же занимает в поэзии нашей почетное место, которое навсегда за ним останется. Впрочем, с Пушкиным было то хорошо, что предубеждения его были вспышки, недуги не заматерелые, не хронические, а разве острые и мимоходные: они, бывало, схватят его, но здоровая натура очищала и преодолевала их. Так было и в отношении к Дмитриеву: и как сей последний, позднее и при дальнейших произведениях поэта, совершенно примирился с ним и оказывал ему должное уважение, так и у Пушкина бывали частые перемирия в отношении к Дмитриеву. Князь Козловский просил Пушкина перевести одну из сатир

Ювенала, которую Козловский почти с начала до конца знал наизусть. Он преследовал Пушкина этим желанием и предложением. Тот наконец согласился и стал приготавливаться к труду. Однажды приходит он ко мне и говорит: «А знаешь ли, как приготавлиюсь я к переводу, заказанному мне Козловским? Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попе. Удивляюсь и люблю силу и стройности шестистопного стиха его».

V

В старых бумагах своих отыскал я несколько заметок, в разное время набросанных о Крылове. Считаю нелишним дать им место в настоящей приписке: они могут пополнить очерк мой и досказать уже сказанное мною.

«В Крылове не люблю *мотива*, направления, морали или заключения некоторых из басней его. Например, басня: „Сочинитель и Разбойник“. В ней, конечно, есть некоторая доля правды; рассказана она живо и мастерски; конец ее превосходен:

Сказала гневная Мегера –
И крышкою захлопнула котел.

Последний стих поразительно хорошо удачен и живописен. Но, признаюсь, по моим понятиям, как-то неловко и

неблаговидно сочинителю, то есть поэту, выводить рядом на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще с тем, чтобы отдать преимущество разбойнику пред сочинителем. Найдутся и без поэта люди, которые охотно выведут такое заключение и подпишут подобный приговор. Нам, людям пера, не подобает мирволить и потакать таким беспощадным осуждениям. По содержанию басни можно предполагать, что Крылов имел в виду Вольтера. Следующие стихи наводят на эту догадку:

И вон опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой.

По счастью для Вольтера, если есть тут Вольтер, стихи, произносимые Мегерой, довольно плохи. Но будь они и лучше, все не желал бы я видеть, что с согласия Крылова *захлопнулась крышка котла* над Вольтером или другим великим писателем, хотя и великим грешником. Питаю надежду, что в таком случае и сама Мегера могла найти некоторые обстоятельства, облегчающие вину того, который

Был славою покрытый сочинитель.

Заметим мимоходом, что и здесь не посчастливилось Крылову: стих нехорош и выражение *покрытый славою* неправильно и неживописно.

Не нравится мне, хотя и не в такой степени, как предыдущая, и другая басня: „Огородник и Философ“. И здесь как будто есть тенденция. Не рано ли у нас смеяться над философами и теми, которые *читают, выписывают, справляются*, как указано в басне. Правда, автор говорит о *недоученном философе*. Но всякий ли поймет эту оговорку? Большая часть читателей зарубят себе на памяти одну мораль басни:

А философ
Без огурцов, –

и придут к заключению, что лучше, выгоднее и скорее *в шляпе дело* не быть философом. Два эти стиха, выражением и складом своим, так и просятся в пословицы. Тем хуже.

В басне своей „Метафизик“ Хемницер выразил почти ту же мысль; но не так безусловно и, так сказать, осторожное, обдуманнее и художественнее. К тому же он выводит на сцену *Метафизика*, над которым, по общепринятым понятиям, можно без греха и потрунить».

«Крылов был вовсе не беззаботливый, рассеянный и до ребячества простосердечный Лафонтен, каким слывет он у нас. Он был несколько, с позволения сказать, неряшлив; но во всем и всегда был он, что называется, себе на уме. И пре-

красно делал, потому что он был чрезвычайно умен. Всю жизнь свою, а впоследствии и дарование свое, обделал он умно и расчетливо. Портрет его, оставленный нам Вигелем, в записках его, как и все характеристики его, более или менее пристрастен и недоброжелателен. Краски его иногда живы и верны, но почти всегда разведены желчью. Со всем тем, изображение Крылова, в основе своей, не должно быть совершенно лишено правды и меткости. Самая первоначальная обстановка жизни Крылова может несколько объяснить нам его самого. Он родился, вырос и возмужал в нужде и бедности; следовательно, в зависимости от других. Такая школа не всем удается. На многих оставляет она, по крайней мере, надолго оттиск если не робости, то большой сдержанности. В таком положении весь человек не может выказаться и высказаться; невольно многое прячет он в себе сознательно или бессознательно. Крылов-баснописец, то есть тот Крылов, которого мы знаем и которого будет знать русское потомство, возрос позднее. В доме князя Сергея Федоровича Голицына, барина умного, но все-таки барина, и к тому же, по жене, племянника князя Потемкина, Крылов, по тогдашним понятиям, не мог пользоваться правом личного человеческого равенства с членами аристократического семейства. Он не был в семействе, а был при семействе. Он был учитель, чиновник, клиент, но в этой среде не был свой брат, хотя, может быть, и вероятно, так и было, пользовался благоволением, а пожалуй, и некоторым сочувствием хозяев. Но, во всяком

случае, тут, разумеется, было не до рассеянности, не до поэтической беззаботливости, не до возможности держать себя вольно. Нет, тут надобно было более или менее держать себя на часах; оглядываться, приглядываться к лицам и обстоятельствам. Такое умственное и нравственное воспитание оставило по себе на Крылове следы свои; они не совершенно сгладились и тогда, когда судьба, и особенно дарование, вывели его на дорогу более светлую и широкую. В первых авторских трудах его, не исключая и комедий, все еще значатся приметы того, что назовем литературным провинциализмом; сей провинциализм еще здравствует и встречается в печати нашей. В области басни Крылов внезапно переродился, просветлел и разом достигнул высоты, на которой поравнялся со всеми высшими. Но басни и были именно призванием его как по врожденному дарованию, – о котором он сам даже как будто не догадывался, – так и по трудной житейской школе, чрез которую он прошел. Здесь и мог он вполне быть себе на уме; здесь мог он многое говорить, не проговариваясь; мог, под личиною зверя, касаться вопросов, обстоятельств, личностей, до которых, может быть, не хватило бы духа у него прямо доходить. Это ставим ему не в укоризну. Каждый человек по характеру, способностям, по выдержке своей имеет свое орудие и свою определенную местность для действия. Крылов наконец нашел и орудие и место свое. Он остался им верен и владел ими ненарушимо, блистательно и благополучно».

«Нам известно, что Крылов был страстный игрок в свое время; впрочем, полно, страстный ли? Как-то не верится, чтобы страсть могла пробиться в эту громадно-сплоченную твердыню. Играл он в карты, вероятно, также по хозяйственным расчетам ума. Бывал ли он влюблен? Бывал ли он когда-нибудь молод? Вот вопросы, которые хотелось бы разрешить. Правда, сказал он как нельзя милее:

Любви в помине больше нет,
А без любви какое уж веселье?

Но и это сказано скорее умом, нежели сердцем, то есть сказано в подражание Лафонтену».

«Знаем, что в наше время многие мало дорожат *художественностью*: это не *реальность*, не вещественная ценность, а умозрительная, условная; это остаток суеверия прежних времен и поколений. Ему нет места в новом порядке вещей. Оно, пожалуй, и так для большинства. Но есть и меньшинство, надобно и о нем подумать и не приносить его беспощадно в жертву силе и числу. Эти немногие, это избранное меньшинство, держатся еще вечных законов искусства и изящных образцов, дошедших до нас наследством от изящной древности. Эти немногие не верят, чтобы это бессмертие достойно и победоносно могло быть заменено новым, свежим бессмертием, новою, свежеею истиною, только вчера выпрыгнувшею из головы каких-то доморощенных Юпитеров.

Для такого меньшинства Дмитриев останется всегда стихотворцем образцовым. Могут быть, будут и даже найдутся и ныне другие образцы, которые уместятся рядом с старыми, но не выживут их с места. Просвещенный любитель живописи образует картинную галерею свою не из одних произведений одного и того же мастера, одной и той же школы. Он любит и умеет ценить разнообразие кисти. И в литературе найдутся охотники, которые прочтут с удовольствием басню Крылова, но прочтут с удовольствием и басню Дмитриева. Между таковыми знавал я, например, Жуковского, Батюшкова, Дашкова, Блудова и других. Не ставлю Дмитриева выше Крылова; но не ставлю и Крылова выше Дмитриева. Сочувствия мои идут не пирамидально».

«Мы готовы были признать в Крылове некоторый литературный провинциализм в первых попытках авторской деятельности его. От этой немощи он впоследствии совершенно оправился. Но в отношении житейском, в обращении его все же остались на нем следы первородного провинциализма. Помню, что на одном из заседаний покойной Российской академии кто-то из членов предложил, что не худо было бы академикам чаще собираться для совещания, чтобы придать занятиям более жизни и более прямое направление. Все согласилось с этим мнением; согласился и Крылов, но с важностью прибавил к тому: „Разумеется, за исключением почтовых дней“. Житель нового Петербурга забыл или не знал, что, по новому порядку, все дни недели дни почтовые и что

почта отправляется во все края по несколько раз в день. Разумеется, тут входили в соображение и лень, и испуг являться часто в академию. Но забавно было, что Крылов оставлял за собою свободными почтовые дни, он, который, вероятно, из всех смертных наименее пользовался письменною почтою».

Югенгейм, шонь 1870 г.